



Сергей Могилевцев

ЖИЗНЬ ИДИОТА

Сергей Могилевцев

Жизнь идиота

«Accent Graphics communications»

2016

Могилевцев С.

Жизнь идиота / С. Могилевцев — «Accent Graphics
communications», 2016

Роман о жизни, борьбе, прозрениях, отчаянии и смерти русского писателя
Виктора К.

© Могилевцев С., 2016

© Accent Graphics
communications, 2016

Содержание

Озеро	6
Кибернетика	7
Мать	8
Отец	9
Эйнштейн	11
Аркадия	12
Старухи	13
Вороны	14
Санаторий	15
Патологоанатом	16
Болезни	17
Мартин Иден	18
Именины	19
Матрос	20
Осознанная необходимость	21
Ялта	22
Релятивизм	23
Ленинград	24
Петергоф	25
Мансарда	26
Протест	27
Свобода	28
Пушкин	29
Падение	30
Кривые пути	31
Армия	32
Сорри!	33
Отметки на полях	34
Имя	35
Еврей	36
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Сергей Могилевцев

Жизнь идиота

Роман

Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтоб быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом.

1-е Послание к Коринфянам Св. Апостола Павла

Озеро

Ему было двенадцать лет, и он стоял с сачком в руках для ловли дафний рядом с озером, лежащим среди виноградников за городом. Озеро было маленькое, и на самом деле это был пруд, выкопанный для орошения виноградных плантаций, которые сейчас, в октябре, горели осенним золотом, и казались ненастоящими, вырезанными из золоченой фольги. Совсем рядом высились синие горы, и отбрасывали вниз, на долину, глубокие темные тени, отчего предметы вокруг приобретали нереальный, и даже пугающий вид. Вокруг не было ни души, и только ветер гудел в вышине, прорываясь в долину сзади, со стороны перевала, отчего ощущение одиночества и затерянности в пространстве еще больше усиливалось. Вода в озере была такая неподвижная и прозрачная, что ясно можно было различить каждую деталь: лежащие на дне камни, куски деревьев, облепленные водорослями ветки и мириады маленьких рачков-дафний, кишаших вокруг взад и вперед. Большая банка, стоявшая рядом с ним на земле, была наполнена этими дафниями уже до самого верха. Глядя на неподвижную черную воду, он вдруг подумал, что если не сможет избавиться от этой постыдной повинности – разводить рыбок в аквариумах, которых у него было уже несколько штук, и ежедневно ухаживать за ними, то бросится в эту темную воду, и будет лежать на дне, как эти облепленные тиной и водорослями ветви деревьев. Мысль броситься вниз была так сладостна и так притягательна, что он лишь с большим трудом отогнал ее от себя.

Кибернетика

Он не знал, зачем собирает эти кибернетические чудовища, похожие на крабов с расставленными в разные стороны клешнями, посередине которых, во лбу, находится фотоэлемент, позволяющий им передвигаться в пространстве. Он ходил по заснеженному городу в этот кружок, потому что так было принято, и этого требовали родители, и вместе с товарищами паял и соединял тонкими медными проволочками радиодетали и другие части неуклюжих кибернетических уродцев, которые затем медленно ползали по полу, иногда наезжали друг на друга, и затем переворачивались вверх брюхом, продолжая нелепо вращать в воздухе колесами и гусеницами. Он не знал, что такое кибернетика, но понимал, что это нечто важное, и, кроме того, так приятно было ходить на нее по снежному и застывшему посреди зимы приморскому городу, с одетыми в белые шубы елями и кипарисами. Кибернетика была так же ненавистна, как и аквариумы, и он твердо знал, что в конце концов избавится от нее.

Мать

Мать была главным детским врачом, и восседала в глубине своего кабинета на высоком кресле, принимая каждый день тысячи детей вместе с их матерями. Она возвышалась над ними, как царица на троне, и подавляла своей надменностью и непреклонностью, ставя всем беспощадный диагноз и выписывая огромное количество рецептов. Она пригибала к земле родителей этими беспощадными диагнозами, от которых едва ли кто из детей мог выжить, и город вскоре должен был совсем обезлюдеть, когда старые жители вымрут, а молодые, расстрелянные в упор надменностью и холодностью матери, перемерут все до одного. Террор матери по отношению к детям города был невыносим, ее диагнозы повергали родителей в шок, и даже сводили их с ума, но мать была непреклонна, и часто говорила своенравным мамашам:

– Если вы не будете лечить своего ребенка самостоятельно, мы заставим вас с помощью милиции, и лишим материнских прав!

Матери очень боялись лишиться материнских прав, и немедленно начинали лечить своих детей ото всех болезней, которыми заразила их мать. Они, без сомнения, ненавидели ее так же глубоко, как и он сам, но только лишь не могли сопротивляться ее надменности и холодности, которая придавила собой весь город. Мать была городской царицей, снежной королевой, от любви которой не было спасения, потому что она превращает тебя в ледышку, и подавляет остатки твоей давно парализованной воли. Если бы мать любила его одного, он бы уже давно превратился в лед, но, к счастью, в городе было много других детей, и у него оставался еще небольшой шанс выжить.

Отец

Отец был врачом в туберкулезном санатории, и в семье все разговоры были о поддувании легких, срочных операциях, смертях, дегустации супа в туберкулезной столовой, происшествиях коллег, и проценте туберкулезных больных, который ни в коем случае нельзя повышать. Палочка Коха, казалось, заполонила все вокруг, и придавила к земле все другие нормальные желания людей. Ей поклонялись, как верховному божеству, на нее молились, как на истинного Бога, ради нее совершали немыслимые подвиги. В доме витал дух подвижничества, дух избавления всех и вся от всех возможных болезней, и на фоне этого духа, на фоне этого высокого служения он сам был абсолютно никем, ненужной помехой под ногами, каким-то досадным зверьком, который путается внизу и пищит жалобным голосом, иногда то прося есть, то требуя обратить на себя внимание блестящих никелированных манекенов, на которых было каллиграфическим почерком написано: «Отец» и «Мать». О нем иногда вспоминали, но большей частью он был абсолютно никем, и ему иногда казалось, что он просто гомункулус, выращенный в пробирке, или в колбе, которыми был заставлен от пола до потолка весь дом. Отец писал диссертацию о туберкулезе, и собирал в пробирки плевки туберкулезных больных со всего района, которых оказалось так много, что они превышали количество жителей, обитающих в N-ской долине. Отец поклонялся палочке Коха, как языческому Ваалу, он, без сомнения, как и мать, желавшая спасти всех детей в городе и мечтающая о том, чтобы они все были больны, мечтал о том времени, когда все от мала до велика заболеют туберкулезом. Отец, как и мать, были безнадежно больны, они были медицинскими вампирами, высасывающими кровь и душу из нормальных здоровых людей, но он был слишком мал, немощен, и заброшен во времени, чтобы противостоять их агрессивному медицинскому терроризму. Они, вне всякого сомнения, были безумны, их самих следовало немедленно изолировать и лечить, но не было в природе силы, которая бы могла это осуществить.

Через несколько лет, совершенно обезумев, отец, не довольствуясь излечением от туберкулеза всего и вся, решил облагодетельствовать вообще всех людей на земле. Он пристроил к туберкулезному санаторию, который, кстати, находился в белой дореволюционной даче, небольшую пристройку, и оборудовал там химическую лабораторию с множеством реторт, колб, реактивов, микроскопов, вытяжных шкафов и прочего, необходимого для облагодетельствования человечества. Он работал круглые сутки, перестав бывать дома и питаясь исключительно в туберкулезной столовой, а потом, кажется, вообще перестал выходить наружу.

Безумие его все возрастало, в глазах непрерывно пылал огонь любви ко всему человечеству, а универсальное лекарство, этот всеобщий эликсир счастья, который желал он изобрести, все не получался, отчего отец еще больше сходил с ума, ничем не отличаясь от средневековых алхимиков. Глядя на него, он с ужасом думал, что эта чаша безумия, фаустианское стремление найти заветный философский камень не минует и его самого.

Не исключено, что отец понимал всю меру своего безумия, и страшился расплаты, которая последует за ним. Он ощущал постоянные волны страха, исходящие от отца, руки которого постоянно дрожали, и когда он брился, то делал на себе множество порезов, которые потом заклеивал маленькими кусочками бумаги, оторванными от газеты, так что на него просто страшно было смотреть. Однажды, зайдя в его лабораторию, он попросил для опыта, вычитанного в научном журнале, немного серной кислоты, и отец налил ему целую колбу, не глядя на него и продолжая что-то вычитывать в своем лабораторном журнале. Отойдя на приличное расстояние от туберкулезного санатория, он, как это и рекомендовалось в журнале, засыпал в колбу немного сахара, отчего изнутри немедленно полезло что-то черное и страшное, похожее на огромного черного червя, а потом непрерывно, как из жерла вулкана, стали выбрасываться мириады черных и вязких сгустков, засыпав черной грязью и пеплом все вокруг в радиусе

десяти, или более метров. Он с ужасом смотрел на этот рукотворный вулкан и думал, что то безумие его семьи, безумие отца и матери, а возможно, и самих Коха с Эйнштейном, лезет из него, как неотвратимая данность, и что он не минует этого безумия, как бы ему ни хотелось.

Эйнштейн

Отец подарил ему книгу о природе пространства и времени, принадлежавшую перу самого Эйнштейна, и как-то незаметно внушил ему мысль, что он будет таким же великим физиком. Он к тому времени окончательно рассчитался с рыбками, марками и кибернетикой, но проклятый Эйнштейн впился в него мертвой хваткой, словно зловредный клещ, и он был вынужден штудировать его, и мечтать о единой теории поля, которую он создаст, обойдя великого мастера, осознавая одновременно, что это еще один вид безумия, которое поражает от мала до велика всех членов их несчастной семьи. Эйнштейн стал одним из домашних демонов, вроде палочки Коха, любви ко всем детям города, собирания марок, и разведения тропических рыбок, от которых не было никакого спасения. Демоны заполняли дом, следуя непрерывной чередой один за другим, и он отчетливо понимал, что надо или бежать отсюда, или прыгать в бездонную тьму загородного пруда, и лежать там на дне, рядом с покрытыми тиной камнями и остовами старых деревьев, окруженных водорослями и мириадами снующих туда и сюда дафний. Портрет великого физика висел у него на стене, и он был вынужден молиться на него, как молятся на языческого божка, который завладел без остатка всей вашей душой и всем вашим телом. Эйнштейн лукаво улыбался ему, а временами даже грозил пальчиком, словно говоря:

– Не бойся стать таким же великим, как я, ведь у тебя уже нет иного пути, и ты должен пройти его до конца, чего бы это тебе ни стоило! Только, прошу тебя, не говори никому, что мы оба безумны, пусть это будет нашей с тобой тайной, гораздо более страшной, чем тайна Атлантиды, и даже Сотворения Мира!

Аркадия

Аркадия, в которой он жил, лежала на берегу Черного моря, и сбегала с холмов к берегу маленькими одноэтажными домами с красными черепичными крышами, окруженными со всех сторон зарослями лавра, фиг, смоковниц, грецкого ореха и ленкоранских акаций. Глядя на изломанные ветви столетних смоковниц, он думал, что это изломанные руки тех инвалидов, которые в огромном количестве обитали на аркадьеvском рынке рядом с пузатыми бочками портвейна и сухого вина.

Старухи

В Аркадии, помимо инвалидов, было огромное множество черных старух, которые, кажется, составляли большинство этого города. По утрам они собирались в огромные стаи в парке около городских пляжей, и делали зарядку под руководством инструкторов, старательно приседая, хрипя от натуги и одышки, тряся дряблыми отвислыми грудями и прочими отвратительными телесами, а также выставляя вперед свои чудовищные зады, хуже и гаже которых, кажется, не было вообще ничего на свете. Старухи усиленно оздоравливались, они надеялись прожить до ста лет, и раздавить своими чудовищными задями все хорошее, что еще оставалось в этом городе. Их ежедневные утренние слеты назывались группами здоровья. Однажды он увидел среди занимающихся физкультурой старух свою мать. В это утро он понял, что ненавидит ее.

Вороны

В городе около моря росли гигантские стометровые тополя, и на них гнездились неисчислимое количество черных ворон. Вечером они возвращались бесконечными черными стадами, занимающими все небо, откуда-то с предгорий, где были их потайные, и, судя по всему, обильные пастбища, и рассаживались на тополях, покрывая их сверху донизу сплошной черной массой, которая непрерывно переругивалась, вступала в ссоры, оглашала окрестности резкими гортанными криками и низвергала вниз тонны помета. Утром же вся эта черная кодла поднималась в воздух, и, словно черные бомбардировщики, несущие смерть в своих бомболюках, сделав прощальный круг над городом, изгадив его криками и пометом, улетала к своим предгорьям, чтобы к вечеру вернуться опять. Черные вороны были похожи на аркадьевских старух, более того, они ничем от них не отличались, они были с ними одной крови, и он часто думал, что старухи, безусловно, умеют превращаться в ворон, а вороны – в старух, и что те и другие, безусловно, являются подлинными хозяевами этого города.

Санаторий

Если бы родители не лечили с утра до вечера других людей, они бы, без сомнения, вылечили его до смерти. Но так как они уморили его только наполовину, он еще кое-как жил, не надеясь, впрочем, дожить и до тридцати. Время от времени родители отправляли его в санаторий, где тоже лечили, но не такими зверскими средствами, как родители, а более щадяще и гуманней. Очень часто его и остальных детей в санатории обмазывали грязью, и нянечка, одетая в белые трусы и такой же белый лифчик, из которого выпирали во все стороны ее белые груди, смывала с них грязь из шланга, то и дело прикасаясь к ним то этими самыми грудями, то животом, то спиной. Однажды во время такой процедуры, когда она прижалась к нему животом, он взглянул ей в глаза. Нянечка в ответ посмотрела на него, и улыбнулась так странно, что он долго потом не мог уснуть от этой улыбки, и вспоминал о ней еще долгие годы.

Патологоанатом

В доме напротив жил патологоанатом, который работал в морге и резал мертвые трупы. Родители говорили, что он совсем спился, поскольку имеет доступ к бесплатному спирту, и скоро вообще не сможет работать. Патологоанатом частенько стоял напротив его дома, прилонившись плечом к газетному киоску, и всегда так странно смотрел на него, словно разрезал скальпелем еще живого. Он внезапно подумал, что взгляд этого патологоанатома очень похож на взгляд нянечки из санатория, смывающей с него грязь из гибкого шланга.

Болезни

Он часто болел. Болезни, можно сказать, сопровождали его по жизни с самого детства, они были запрограммированы, вживлены в его мозг и плоть родителями, которые считали, что все люди больны, что самых злостных надо лечить принудительно, и что вообще был бы человек, а лечить его можно всегда. Болезни стали его второй сущностью, его тайной натурой, он уже не представлял себе жизнь без болезней, да и сама жизнь представлялась ему отныне обитанием в некоем бесконечном санатории с гладкими кафельными стенами и потолком, ежедневной раздачей таблеток в квадратных деревянных ящичках, которые разносят медсестры, процедурами, прозекторскими, страшными клозетами и душевыми, уколами, прослушиванием рентгеном и историями болезней, пухнувшими день ото дня, в которые записаны все болезни этого мира и все самые беспощадные диагнозы, которые только лишь существуют на свете. Болезни, с первого вздоха вошедшие в его жизнь, еще больше убедили его, что навряд ли он доживет до тридцати.

Мартин Иден

Во время очередной болезни, когда он оставался дома один, он как-то незаметно прочитал всего Джека Лондона, которого нашел этажом выше, в квартире своего приятеля, хранящимся наверху старого, покрытого пылью платяного шкафа. Особенно поразил его Мартин Иден, ибо он сразу понял, что это человек, на которого он необыкновенно похож. Он не мог точно ответить на вопрос, чем именно похож на Мартина Идена, но чувствовал, что у них сходные судьбы, что Джек Лондон просто угадал его собственную судьбу, которая просто еще до конца не раскрыта, которая затеряна где-то в завитках времени, но которая уже описана в романе, ставшем на долгие годы его настольной книгой. Других книг вокруг него было мало, точнее, их было необычайно много, но все это было не то, что ему было нужно, и кроме Джека Лондона ему удалось раскопать лишь Флобера с его Саламбо. Много позже он поймет, что этого было достаточно, чтобы продержаться на плаву еще какое-то время.

Именины

Он был весь оборван, у него постоянно были или сбиты пальцы на ногах, или ободраны в кровь локти. Он часто поражался, что ходит в каком-то тряпье, потому что родители, занятые великим делом лечения всех и вся, забывали покупать ему одежду. Летом они пускали отдыхающих, и однажды одна из них, сердобольная полная женщина, сшила ему цветную рубашку, в которой он проходил несколько лет. Он постоянно жил с чувством отверженности, которое иногда остро язвило его в самое сердце. Однажды его пригласили на именины, и он впервые, возможно, осознал со всей отчетливостью, как же он одинок в этом мире. Ему было трудно поднять глаза на сидящих рядом девушек, трудно прикоснуться к ним во время танцев, трудно отвечать на вопросы и подносить ко рту пирожные и куски торта. Ему не было смешно, когда все смеялись, и он не понимал соль и смысл шуток, которые казались ему глупыми. Более того, он вдруг понял, что ему не нужны такие веселые сборища, что он на самом деле втайне жаждет совсем другого, что отверженные, к которым он относится, живут в одиночестве, и питаются в горах акридами и диким медом. Он встал и тихонько покинул шумные именины. Ухода его, разумеется, никто не заметил.

Матрос

Однажды во время поездки в пригородной электричке из областного центра в Севастополь, где он по настоянию родителей должен был через год поступать в Политехнический институт, он увидел в тамбуре возле туалета матроса. Матрос был гигантского роста, только что, по всей видимости, демобилизованный, в тельняшке на открытой груди, и с маленьким дерматиновым чемоданчиком в руке, похожим на дамскую сумочку. Он смотрел на него, заходящего в туалет, и улыбался так странно и так настойчиво, что он, не пробыв в туалете и минуты, вышел оттуда совсем потный от страха. С горящими ушами и щеками, он протиснулся в узком тамбуре мимо звероподобного человека в тельняшке и с дамской сумочкой в руках, и кое-как доковылял до своего места в вагоне. Он чувствовал, что матрос сделал с ним нечто постыдное и запретное, только не мог понять, что именно. Уже много позже, спустя годы, он понял, что матрос был педерастом, и, очевидно, совершал виртуальный запретный акт со всеми входящими и выходящими из туалета мужчинами.

Осознанная необходимость

За пол года до окончания школы он катался на перевале на лыжах вместе со своими приятелями, и почему-то все время громко кричал:

– Свобода есть осознанная необходимость!

К нему привязалась эта фраза из Энгельса, которую они наряду с Лениным и Марксом проходили в школе, и он никак не мог от нее избавиться.

– Свобода есть осознанная необходимость! – кричал он покрытым снегом крымским дубам и соснам, и эхо разносило эту фразу в горах, а потом, множественно отразившись, возвращало ее назад. Он чувствовал себя философом, затерянным в снегах, где-то на вершинах Гималаев, и знал, что ему здесь гораздо легче и гораздо свободней, чем внизу, в долине, где он всего лишь отверженное существо, ненужное и неизвестное никому. Он ненавидел эту долину, но знал заранее каким-то шестым или девятым чувством, что она уже успела отравить его тело и его душу, и что он, наскучив скитаться в иных пространствах, придет сюда умирать. Знание это было очень простым и очень естественным, и ничуть не мешало ему.

Ялта

В восьмом классе, в марте месяце, они с товарищами поехали в Ялту. Они выпили в дороге, и в Ялте вели себя развязно и нагло, так что какие-то старушки делали им замечания. Они ходили по холмам среди оливковых деревьев, спускались к морю и мочили ноги и лица в воде. Было очень тепло, почти как летом, и рядом с ними на песке валялись пустые бутылки из-под портвейна. Он удивился какой-то свежей волне освобождения и чистоты, которую несла с собой Ялта. Много позже, спустя годы, Ялта станет для него почти единственной, если не считать Москву, отдушиной, спасавшей от идиотизма аркадьевской жизни.

Релятивизм

Релятивизм был повсюду. Он проникал в плоть и кровь, забирался в мозг и самую душу, как наваждение, как кара небес, как эманация черного подземного электричества. Релятивизм шел от Эйнштейна, ухмылявшегося с портрета, висящего у него на стене, он был разлит в воздухе огромной страны, где все было зыбко и относительно, где в воздухе пахло войной и смертью, и где целые потерянные поколения приходили одно за другим, и падали на землю, как скошенная трава под косой дьявольского косаря. Он был абсолютно ободран, заброшен и отвержен, словно принц Гамлет в его сказочных датских пространствах. Он был абсолютно отвержен среди баснословной крымской природы, и давно уже решил для себя, что навряд ли доживет до тридцати, потому что больше жить не имело уже никакого смысла. Относительность понятий, девальвация ценностей, падение норм морали заставляли его не спать по ночам, и лихорадочно искать хотя бы крохотный островок устойчивости в этом погруженном в относительность мире. Сначала он искал такой островок у Эйнштейна, и даже молился на него, словно на Бога, но потом понял, что должны существовать ценности помимо изящных и абсолютных математических формул. Он давно уже не искал таких ценностей ни у Энгельса, которого когда-то цитировал, ни у Ленина, ни у Маркса, которых добросовестно пробовал изучать. Он стал лихорадочно рыться в библиотеках, и прочитал там все, что было возможно. Джек Лондон давно уже не удовлетворял его, и он принялся за Толстого, Достоевского, Гёте, навсегда сохранив их в числе своих учителей. На какое-то время к нему приходили лжеучителя, как, например, Чарльз Перси Сноу, или Иван Ефремов, но постепенно он избавился и от них. Он пытался изучать философию, и последовательно проштудировал отдельные разрозненные книги Спинозы, Аристотеля, Монтеня и Бэкона, – все, что удалось откопать ему в библиотеках Аркадии. Но этого было мало, и не позволяло ничего противопоставить всеобщему удушью релятивизму, который превращал каждого отдельного человека в маленькое заброшенное существо, совершенно бесправное и несвободное, лишенное ориентиров и ценностей, эдакого Акакия Акакиевича нашего времени. Релятивизм был тайной религией этого проклятого времени, и спастись от него можно было только единственным образом: противопоставить абсолютным и блестящим, как отполированные стальные насекомые, формулам человека с высунутым языком и летящем копной волос какие-то свои формулы и идеи.

Ленинград

Восемнадцатилетний, он шел по Невскому проспекту, не вполне еще понимая, что стал студентом Ленинградского университета, вознесенный сюда усилием матери, все еще желавшей сделать из него великого физика. Подъемные мосты, атланты и кариатиды у входа в подъезды домов на время придавили его, и после провинциальной Аркадии казались чем-то нереальным, пришедшим из иного мира. Эрмитаж казался ему дворцом Али-Бабы, наполненным несметными сокровищами, который неожиданно приоткрыл свои тайны. Проходя в одной из дальних галерей, он вдруг увидел разбитую витрину, под которой лежали какие-то акварели и покрытые эмалью фигурки. Он лишь с большим трудом преодолел в себе острое желание нагнуться и взять одну из них.

Петергоф

Его факультет, только что отстроенный, находился в Петергофе, совсем рядом с фонтанами и дворцами, блестящими позолотой на вензелях, окнах и статуях, установленных на крышах. Это мешало усвоению лекционного материала. Первую лекцию по математике им прочитал толстый и лысый профессор, куривший трубку и пьющий прямо на кафедре кофе, который представился так:

– Я сын писателя Алексея Толстого, это обо мне написан знаменитый рассказ «Детство Никиты»!

Было забавно смотреть на профессора, которому, очевидно, было уже много лет, но который, тем не менее, так мило заигрывал со студентами.

Мансарда

Он снимал мансарду в Петергофе недалеко от здания факультета пополам еще с одним студентом-физиком по фамилии Данченко. Он очень много курил и пил кофе, который кипятил в небольшом чуланчике на русской печке, растапливая ее углем и дровами. Он до сих пор искренне недоумевал, как же очутился здесь, и чем это в конце концов может кончиться. Данченко навешал его лишь изредка, часто ночуя где-то в иных местах, каждый раз принося с собой какую-то новую книгу. Однажды он принес «Гамлета», и неожиданно стал читать монолог «Быть или не быть...» После его ухода он взял пьесу Шекспира, и быстро прочитал ее от начала и до конца. Было пасмурное ноябрьское утро, за огромным, во всю стену, окном мансарды, стояла белесая мгла. На столе перед ним громоздились книги по физике и математике, лежали конспекты и только что прочитанная пьеса Шекспира, а на проигрывателе крутился «Реквием» Моцарта, который купил он в магазине на Невском. Он откинулся на спинку стула, закинул за голову руки, и, глядя на снег за окном, неожиданно подумал, что одной физики ему мало, как мало, очевидно, и одной литературы, но чтобы объединить в себе и то, и другое, надо, очевидно, сойти с ума и стать безумцем.

Протест

В сентябре, во время работы в стройотряде, он вдруг неожиданно обнаружил в себе бунтарские чувства, подбив большое число студентов на забастовку. Через несколько месяцев ему это припомнили, и заявили, что исключают из университета. Он очень удивился этому, потому что вообще не был бунтарем, и хотел только лишь одного: разобраться, нужна ли ему физика, или нет?

Свобода

Ему хватило денег, чтобы дожить до весны (он не говорил родителям об отчислении из университета), снимая маленькую комнатку на Васильевском острове в огромном и мрачном доме с глухим колодцем двора и запущенным подъездом. Он нашел эту комнату на Львином мостике, где располагалась квартирная биржа, сняв ее у какого-то киношника, который до весны уезжал на съемки. Однажды в феврале, возвратись поздно домой из кинотеатра, где он смотрел американский фильм «Ромео и Джульетта», он застал в своей комнатке внезапно вернувшегося киношника в постели с какой-то женщиной. Вокруг на полу, на секретере, и даже на кровати валялись его дневники и стихи, которые, разумеется, бесцеремонно и нагло читались и попирались ногами.

От стыда, обиды и внутренней боли ему захотелось покончить с собой.

– Пойдемте ко мне, – сказала ему, наскоро одевшись, и помогая собирать разбросанные вещи и бумаги, молодая женщина. – Здесь вам оставаться больше нельзя, а у меня вы можете жить, сколько угодно, и не обязательно за это платить.

Они проехали через весь Ленинград на светящимся зеленым глазом такси, и оказались в огромной квартире, состоящей из множества комнат, где, кроме хозяйки, жило еще несколько бесприютных молодых людей, подобранных, очевидно, при таких же обстоятельствах, что и у него.

– У вас совсем холодные руки, – сказала ему хозяйка, – я не заставляю вас греться в моей постели, но, если хотите, можете сделать это.

Было уже раннее утро, на улице слышался лязг трамваев и гудки одиноких машин. В белесом свете, льющимся из окна, лицо хозяйки было похоже на посмертную маску. Он неуклюже извинился, сказав, что ему срочно надо идти. Вечером он забрал свой чемодан, и уже никогда не встречался с этой женщиной, долгие годы жалея о том, что не остался.

Пушкин

Весной, поздно вечером, почти что в полночь, он стоял у входа в квартиру Пушкина, весь объятый каким-то странным и тревожным чувством. Он вновь снял где-то комнату, и целые дни проводил в публичной библиотеке и на лекциях по философии, которые читали в главном корпусе университета. Недостаточность одного естественно-научного знания для человека давно уже была ясна ему, но как вырваться из их прочных оков, он не знал. Он начинал судорожно читать, а потом бросать, Канта, Гегеля и Шопенгауэра, а потом шел в театр на очередной спектакль, шепча каждый раз одно и то же: «Так жить нельзя, так жить нельзя!» Возвращаясь от Пушкина, с которым у него, несомненно, установилась тайная связь, он у решетки, ведущей к Зимнему дворцу, заметил какие-то неясные тени, вжимавшиеся в гранит стен. Потом тени отделились, стали отчетливей, и раздался призывный свист. Это были продажные женщины города Ленинграда.

Падение

Измученный неопределенностью своего положения, он пал так низко, что в конце мая покинул Ленинград и вернулся в Аркадию. Возвращение из города на Неве в провинциальное захолустье действительно было падением. Многие тайные язвы его семьи отчетливо открылись ему. Мать, ослепленная любовью ко всему больному человечеству, перенесла часть этой испепеляющей любви на него, и он мог вспыхнуть в любую минуту, превратившись в жалкую обугленную головешку. Кроме того, она по-прежнему верила, что он станет великим физиком и переплюнет Эйнштейна. Отец же, которому не удалось найти философский камень, то есть создать идеальное лекарство от всего и вся, лечившее с одинаковым успехом и банальный насморк, и недержание мочи, и болезнь Паркинсона, остро ненавидел его. Он чувствовал каким-то подземным чутьем, что у него не менее грандиозные амбиции, и люто ревновал его к этим амбициям, поставив вынужденную жирную точку на своих собственных.

Кривые пути

Ему было уже двадцать лет, и для него в жизни начались кривые пути. Это было похоже на то, как он петлял во тьме в чужом городе в кривых переулках и не мог из них выбраться. Он колесил по Украине, и жил то в Харькове, работая днем на военном заводе, который выпускал танки, а ночью погружаясь в ворох книг и каких-то набросков, смысла которых не понимал до конца, – он то путешествовал по весям и городам, то ненадолго опять возвращался в Аркадию, и конца этим блужданиям не было никакого. Он был отравлен проклятьем своей семьи, он был вынужден искать некий идеал, названия которого не знал, и достичь которого невозможно было в принципе.

Армия

Армия, кажется, ненадолго спасла его. Но прослужив несколько месяцев, он неожиданно понял, что это еще хуже, чем блуждание в потемках в чужом городе, и решил симулировать болезнь.

Сначала все шло хорошо, и, наученный опытом общения с матерью, которая давно уже поставила ему несколько смертельных диагнозов, он начал имитировать один из них. Однако, попав в итоге в Одессу, он в окружном госпитале столкнулся с профессором, который видел его насквозь, и обхитрить которого, очевидно, было нельзя. Тогда он отказался от еды, и профессор заявил, что будет кормить его насильно, а потом поместит в сумасшедший дом. Тогда он решил вспомнить все, чему научила его в детстве мать, заявляя, что он неизлечимо болен ревматизмом, и начал симулировать все малейшие оттенки этой болезни. Это был тайный поединок матери, печалующейся о всех несчастных детях земли, и какого-то несчастного профессора из одесского госпиталя, вообразившего, что он столкнулся всего-навсего с очередным симулянтом. Мать, разумеется, победила, ибо за ней незримо стояло все человечество. Ночью у него поднялась невыносимая температура, суставы на ногах и руках опухли, и профессор, видя, что он может умереть, был вынужден сдаться, заявляя, что это всего-навсего самовнушение. Но он-то знал, что это не так! Его комиссовали, и он на самолете вернулся в Крым, вновь ненадолго поселившись с родителями.

Сорри!

У него был друг, который постоянно щеголял иностранным словечком, и к месту, и не к месту говорил: «Сорри!» Он ходил в щегольских сапогах с высокими каблуками, похожими на каблуки американских ковбоев, и черной кожаной куртке. Кроме этого «Сори!», куртки и каблуков, у него, кажется, не было ничего, и когда они расстались, он, кажется, совсем не жалел об этом. Лишь эхо иностранного слова еще несколько лет звучало в его ушах.

Отметки на полях

Перед тем, как уехать в Москву, он перерыл в аркадьевской библиотеке все, что можно, иногда натываясь на действительно нужные ему книги, вроде стихов Гейне, на полях которых он всякий раз встречал довольно тонкие пометки карандашом. Он неожиданно подумал, что эти пометки вполне бы могли принадлежать ему самому. Много позже, оставив в разных городах и в разных странах множество собственных книг с пометками на полях, он неожиданно понял, что не надо удивляться этим пометкам, и не надо спрашивать, кому они принадлежат – они принадлежат самому тебе!

Имя

Однажды, увидев на документе свое имя: «Виктор К.», он очень удивился, как будто увидел себя в зеркале совсем в новом ракурсе.

Еврей

Перед самым отъездом в Москву он неожиданно познакомился со ссыльным евреем, студентом Харьковского университета, организовавшего кружок по изучению трудов Маркса и Ленина. Ссыльный студент служил в стройбате, и озеленял парки и скверы Аркадии, фамилия его была Семенов, он был уже в возрасте, наполовину лыс, близорук, и носил круглые очки с очень толстыми стеклами. Он был вечным студентом, и, значит, близким ему по духу человеком, поскольку он сам, в некотором смысле, был вечным студентом. Еврей был мудр, печален, в его глазах, кажется, застыла вся боль и вся скорбь его скитальческого народа, и это был почти единственный человек в жизни Виктора, с которым он мог говорить откровенно. Семенов работал кладовщиком, и они часто вечером оставались на его складе, разговаривая до бесконечности, выпивая за ночь бесчисленное количество чашек кофе и оставляя в пепельнице горы окурков. Утром, одуревшие от бессонницы и кофеина, они шли на море, и здесь Семенов торжественно, как царь Соломон, окунал в прозрачные воды свое полное и белесое тело тридцатипятилетнего вечного студента, и говорил печальным и тихим голосом, держа в руках полупустую бутылку портвейна:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.